



## **А. В. АМФИТЕАТРОВ**

### **Вл. С. Соловьев**

(Встречи)

Быть может, ни о ком из деятелей последних лет не ходило в обществе столько разнообразных и разноречивых слухов, как о покойном Вл. С. Соловьеве. Общество чувствовало в нем огромный талант и огромную, интересную загадку. Что он за человек? Разрешить нелегко было тому, кто знал его только по печати да по публичным чтениям. У нас в России принято, чтобы талант причислялся к определенному литературно-политическому ведомству, надевал его мундир и затем неукоснительно проходил в оном длинную лестницу чиновного производства до «нашего маститого» включительно. Вл. С. Соловьев был решительно не создан для мундира. Мысль его, как гигантский маятник, качалась между восточниками и западниками, унося на себе плодотворные следы и тех и других. Это не был ни консерватор, ни либерал, ни ретроград, ни радикал, ни народник, ни марксист. Это был одинокий свободомыслящий мудрец, имевший привычку думать вслух — спокойно, искренно, объективно и вслух, — не смущаясь вопросом, по вкусу ли придутся слова его соседям и в какой отряд «убеждений» они его на основании этих рассуждений вслух зачислят. Громадное дарование Вл. С. Соловьева сделало, что его уважали и любили все наши «лагери». Когда он умер, все лагери дружно всплакнули о его смерти. Но ни один лагерь не решился утверждать: он был всецело наш. Говорили только: покойный сходил с нами в таких-то и таких-то взглядах, и мы любили его за это, хотя расходились в других.

Мыслитель вслух и Л. Н. Толстой. Но Вл. С. Соловьев был в другом роде. Не говоря уже об авторитете, которым с Толстым Соловьев не мог, конечно, равняться, была разница в способах оглашения результатов мысли и влияния ими на массу. Однажды при мне в Москве в весьма интеллигентном, профессорском

кругу зашла речь о так называемой «вредоносности» Толстого, усердно проповедуемой всяческими, а наипаче московскими, охранителями. Известно, что в среде западников-прогрессистов идеи толстовского опрощения и непротивления злу тоже симпатиями не пользуются. Спор был интересен, умен, разнообразен; один из участников его, фанатический поклонник и последователь Льва Николаевича, блистательно разбил своих оппонентов на два фронта и, торжествуя, ушел победителем.

— Я же, — сказал по уходе его старый профессор-шестидесятник, все время молчавший, — нахожу в деятельности Толстого всего лишь одну отрицательную сторону — не столько даже вредную, как печальную. Это — что, бросившись в этический анализ и философские построения уже человеком пятидесяти лет, он, с огромным авторитетом своим, оповещал мир чуть не каждый день о результатах, которых он достигал как мыслитель-самоучка.

— Что же тут дурного?

— То, что вместо одной, твердой и ясной философско-религиозной системы, которую он выработал бы про себя и объявил, освященную своим творческим именем, к XX веку, мы в течение двух десятилетий имели не один толстизм, а несколько толстизмов, из которых иные почти зачеркивали предыдущие. Он слишком часто показывал массе черняки своей умственной работы, а масса хваталась за каждый из них как за последнее слово учителя, не соображая того, что вечно и неугомонно грызущий Толстого дух сомнения заставит его еще несколько раз переработать черняки, прежде чем они будут им признаны готовыми набело, да и то еще Бог весть какая потом пойдет корректурная правка. А из этого опубликования черняков получилось, что множество людей, не способных пойти в свободе мысли и воли дальше *ipse dixit*<sup>1</sup>, позастряли на таких стадиях толстизма, которые давно упразднены самим Толстым. Я знаю многих толстовцев, которые, задержавшись на деятельности и проповеди Толстого в начале 80-х годов, не посмели шагнуть за ним в девяностые. Есть, наоборот, толстовцы в сотни раз строже в толстизме самого Толстого, ревниво следящие за своим апостолом, готовые обличить каждую его непоследовательность и, если удастся обличить, затем неделями, месяцами терзаться и мучиться ею, изнывая в сомнениях. Словом, я упрекаю его только в том, что вместо того, чтобы выносить про себя и затем принести и провозгласить толпе учение свое готовым, Лев Николаевич вырабатывал его на глазах всей России, увлекая за собою белить процесс своего творчества все общество: куда он, туда и вы. Но его-то

огромной голове было немудрено одолевать эти этапы мысли, а умы послабее, не говоря уже о посредственных, изнемогали и застревали на них сотнями.

Вл. С. Соловьев неповинен этому упреку — по крайней мере, неповинен в той мере, как Толстой: обыкновенно он мыслил вслух набело. Но вследствие того и мысль его, заключенная в стройные, но сложные системы, становилась менее доступною массам. Толстой давал толпе не только пищу, но и наглядно показывал опытом, как ее готовят, как надо ее класть в рот, жевать, глотать, переваривать. Соловьев подносил кушанья и говорил: «Попробуйте — вкусно. А как за него надо взяться, ножом с вилокю или ложкою, — не скажу: сами догадайтесь. И разъяснить вам, как я его приготавливал, из чего и в каких пропорциях, — тоже не хочу. Анализируйте, если можете». Он был больше аристократ-ученый, тогда как Толстой — больше демократический самоучка. Громадная, почти страшная, энциклопедическая эрудиция Владимира Соловьева и привычка его к строго научному тону резко подчеркивали эту разницу. В Соловьеве много Фауста, уклонявшегося из толпы; Толстой, даже и в философии, похож на тех старых русских угодников, старателей народных, что весь религиозный смысл жизни своей полагали в общении с толпою, в направлении ее по путям, предначертанным их вдохновителями.

Фаусты поэтичны и загадочны. Поэтичен и загадочен для общества был и Соловьев. Трудно отрицать в нем некоторую мистическую двойственность духа и быта.

— Соловьев великий постник и трезвенник! — скажет один в обществе.

А другой сейчас же возражает:

— Помилуйте, мы ужинали у Н. — и он отлично пил красное вино.

— Соловьев аскет и девственник.

— Однако иной раз он рассказывает препоικантные истории и анекдоты.

И все правда: и постничество с трезвенностью, и красное вино, и аскетизм, и анекдоты.

— Удивил нас Соловьев, — говорил мне один московский литератор. — Разговорился вчера. Ума — палата. Блеск невероятный. Сам — апостол апостолом. Лицо вдохновенное, глаза сияют. Очаровал нас всех. Но... доказывал он, положим, что дважды два четыре. Доказал. Поверили в него, как в Бога. И вдруг — словно что-то его защелкнуло. Стал угрюмый, насмешливый, глаза унылые, злые. «А знаете ли, — говорит, — ведь дважды-

то два не четыре, а пять». — «Бог с вами, Владимир Сергеевич! Да вы же сами нам сейчас доказали...» — «Мало ли что “доказал”. Вы послушайте-ка...» И опять пошел говорить. Режет *contra*, как только что резал *pro*, — пожалуй, еще талантливее. Чувствуем, что это шутка, а жутко как-то. Логика острая, резкая, неумолимая, сарказмы страшные... Умолк — мы только руками развели: видим, действительно, дважды два — не четыре, а пять. А он — то смеется, то словно его сейчас живым в гроб класть станут.

Соловьев был, несомненно, самым сильным диалектическим умом современной русской литературы. В споре он был непобедим и любил гимнастику спора, но выходки, подобные только что рассказанной, кроют свои причины глубже, чем только в пристрастии к гимнастике. Этому Фаусту послан был в плоть Мефистофель, с которым он непрестанно и неутомимо боролся. Соловьев верил, что этот дух сомнения, вносящий раздвоение в его натуру, самый настоящий бес из пекла, навязанный ему в искушение и погибель. Известно, что он был галлюцинат и духовидец. Про преследования его бесами он рассказывал друзьям своим ужасные вещи, — совсем не рисуясь, а дрожа, обливаясь холодным потом, так тяжка приходилась ему иной раз эта борьба с призраками мистически настроенного воображения.

Вот один из таких рассказов.

На финляндском пароходе, в шхерах, по пути, кажется, из Ганге, Вл. С. Соловьев поутру, встав ото сна, сидел в своей каюте на койке и думал о чем-то далеком. Вдруг ему стало неловко, как будто на него кто-то смотрит, как будто он не один в каюте. Оглядевшись, он видит, что на подушке его постели сидит мохнатое серое человекообразное существо и глядит на него злыми глазами.

— Не знаю почему, но я не удивился, — говорил Вл. С., — а только посмотрел на него пристально в свою очередь и, тоже не знаю почему, вдруг спросил его: «А ты знаешь, что Христос воскрес?» А он мне в ответ: «Христос-то воскрес, а вот тебя я оседлаю!»

И он прыгнул на меня, и я почувствовал себя придавленным страшною и отвратительною тяжестью...

Вне себя от ужасной галлюцинации, Соловьев начал читать все молитвы и заклания против злых духов, какие могла подсказать ему огромная, опытная в Писании и в обиходе церковном, память. Видение отвалилось... Соловьев выбежал на палубу и повалился в обмороке.

Человек, с которым приключаются подобные истории, конечно, не пророчит быть долговечным. Зимой 1899—1900 года я несколько раз встречался с Соловьевым, впервые с ним тогда познакомившись, и, при всей гениальности его разговора, при всем остроумии, глубине мысли, при всей симпатичности его наружности и обращения, в нем жило что-то именно жуткое, необычайное, чудилось какое-то страшное, «высшее» недовольство — собою ли, миром ли?

«Гениален-то он гениален, — думал я, возвращаясь после одной такой встречи у М. А. Загуляева<sup>2</sup>, — только как бы он не пустил себе пули в лоб либо, если религия удержит его от самоубийства, не очутился бы в сумасшедшем доме».

В нем было что-то «ставрогинское»: покоряющее, но заставляющее жалеть его, властное, но глубоко внутри несчастное, сверкающее светом, испещренным темными пятнами отчаянных сомнений... гений граничил с безумием, и безумные по смелости слова и мысли поднимались до гения.

\* \* \*

Зимой 1899 года возник из одного литературного столкновения третейский суд. Одна из сторон выбрала в судьи меня и Вл. С. Соловьева, другая — М. А. Загуляева и одного почтенного ученого, имени которого я не упоминаю, так как, быть может, он не желает быть названным. Я был всего лишь на одном заседании этого суда, так как во время двух последующих проболел инфлюэнцею. Установив на заседании формальную сторону дела, мы сложили в сторону официальные отношения и перешли к обычной беседе. Ученый скоро ушел, а Соловьев и я остались у Загуляева, по приглашению его, пить чай и какое-то особенное, превосходное пиво в каких-то вычурных жбанчиках, каких мне не приходилось видеть ни прежде, ни после. М. А. Загуляев был человек высокоорганизованный, умел устраиваться и жить не только по-европейски, но и щегольски по-европейски, как европеец больше самих европейцев. Соловьев был, как известно, вегетарианец. Однако не рисовался этим демонстративно: редиску ел с маслом и даже, кажется, пробовал шофруа из дичи<sup>3</sup>. И пива хлебнул. Думал ли я, сидя за столом между этими двумя людьми, что сижу между двумя вскоре покойниками?! И года не прошло, а уже оба лежали на кладбище... Загуляев хоть старик был, — а Соловьев-то?

Пришел Соловьев не в духе, как и все мы, впрочем: щекотливое дело третейского суда — кому в радость? Да и не мастера мы,

русские, проделывать эти заграничные штуки. Один Загуляев чувствовал себя как рыба в воде и священнодействовал с величием и умелостью члена палаты лордов. Но когда официальности кончились, Соловьев развеселился.

— Я против вас зуб имею, — обратился он ко мне с тою чарующею улыбкою, которая привлекала к нему по первому же знакомству столько друзей.

— За что, Владимир Сергеевич?

— А зачем вы напечатали мою «Эпитафию»?

— А зачем вы пустили ее ходить по рукам?

Он расхохотался.

— Правда, смешно?

— Очень смешно, Владимир Сергеевич: прутковская простота какая-то.

— А кто вам сообщил ее?

Я назвал.

— Ах, разбойник! — снова засмеялся Соловьев. — Я ему прочел стихи как доброму человеку, а он — в печать! Уши ему надрать надо. А впрочем, отлично сделал: пусть посмеются люди; смех добрый, искренний нужен... только без гнева, без злости... Улыбка радости нужна. Пусть улыбнутся.

«Эпитафия самому себе», шутка Вл. С. Соловьева, о которой шла речь, читается так:

Владимир Соловьев  
Лежит на месте этом.  
Был прежде философ,  
А после стал поэтом.

Он душу потерял,  
Не говоря о теле;  
И душу дьявол взял,  
Собаки тело съели.

Прохожий! Научись  
Из этого примера,  
Сколь пагубна любовь  
И сколь полезна вера.

— Стих о собаках, — улыбаясь продолжал Вл. С., — у вас был напечатан неверно: «тело собаки съели»... тут размер не выдержан.

— Мы думали, вы нарочно, ради особой пикантности — маленькая невыдержка в размере иногда эффектна.

— Ну это мог себе позволять Некрасов, а не мы, которые «после стали поэтами»! А вы знаете другую мою эпиграмму, тоже недавнюю?

- Какую?
- На Розанова.
- Нет, не слышал.
- Запишите, если хотите.

Я записал, но... запись потерял и теперь помню наизусть лишь первые четыре и последние стихи этой смешной вещицы, превосходно и беззлобно вышучивающей чересчур «византийский» привкус писаний и мировоззрения г. Розанова. Вот эти стихи.. Думаю, что г. Розанов не обидится на их оглашение. В них нет ничего для него оскорбительного. Он изображен в момент, когда становится на молитву и исповедует вслух суть своих убеждений:

Затеплю я свою лампаду  
И духом в горних воспарю:  
Я не убью, я не украду,  
Я не прелюбы сотворю...  
.....

И, в сонме кротких светлых духов,  
Я помолюсь за свой народ,  
За растворение воздушных  
И за свя-тей-ший пра-ви-тель-ству-ю-щий сино-о-о-од!

Читал Вл. С., радуясь своей шутке как ребенок, захлебываясь смехом, а последний стих даже пробасил, как дьякон. Говорят, что подобных острот в рифмах им набросано множество, Потом меня уверяли, что эпиграмма эта кн. С. Н. Трубецкого и что написана она на Победоносцева. Я помню, что Вл. С. Соловьев говорил о ней как о своей, но, может быть, память мне изменила, хотя это редко со мною случается. Относительно же Розанова положительно утверждаю, что Соловьев рекомендовал эпиграмму как направленную против него. С юмористическими стихами Соловьева много недоразумений. По-видимому, он любил ими мистифицировать публику. Так, одно из них, несомненно ему принадлежащее, на «непротивление злу», он приписал Алексею Толстому\*. Наоборот, одна смешная баллада, ходившая по рукам под именем Владимира Соловьева, оказалась впоследствии произведением А. А. Столыпина\*\*.

Загуляев осторожно переменял разговор, наводя Соловьева на мистические темы. Совершенно не зная Загуляева, я не имею по-

\* Вонзил кинжал убийца нечестивый  
В грудь Деларю.  
А Деларю, с улыбкою учтивой:  
«Благодарю!» и т. д.<sup>4</sup>

\*\* «Пан Зноско стар...» и т. д.

нения о том, был ли он вообще мистиком, но в этот вечер он говорил как убежденный супернатуралист, горячо соглашался со спиритами, поминал о таинственных предчувствиях... Соловьев слушал, опустил голову, потом вдруг сказал:

— Удивительная вещь! Со мною бывало много загадочных странностей. Но если они бывали, то всегда грубые, резкие, ошеломляющие. Чудес по мелочам, которыми спириты утешаются, я не знаю. А впрочем, может быть, просто не замечаю? В жизни так много проходит незамеченным... Тело, громко кричащее тело отвлекает от подробностей жизни духа, вуалирует его глубины. Я знал монаха, самоистязатель был, подвижник, постник. Заболел он сильно, желудок стал плохо варить, запоры пошли — инок рад: измождусь, верит, еще больше — и удостоюсь видений. А фельдшер, который к нему временами ходил, взял да и угостил его слабительным... Ну, что после того монах не имел видений, это понятно — самое верное против них средство! А вот что он потом уже и не захотел их иметь, и хотя продолжал быть очень порядочным монахом, но изнурять себя более не пожелал и повел свою плотскую жизнь очень нормально, — вот это удивительно. Тело одолело, заслонило душе дорогу к экстазу...

Тогда много говорили о деле Скитских. Соловьеву очень нравилось «литературное дознание», произведенное по этому делу Дорошевичем для газеты «Россия»<sup>5</sup>. Разговор, коснувшись кровавой темы, перешел на преступления конца века, в которых так часто и так страшно смерть и сладострастие братаются между собою, на «карамазовщину» новой культуры. Между прочим, Загуляев напомнил ходячий анекдот о давно уже умершем знаменитом русском писателе<sup>6</sup>, человеке нервном до эпилептических припадков, который однажды в половом аффекте будто бы совершил отвратительное насилие над малолетнею нищенкою и затем, в покаянном порыве, пришел неожиданно к своему злейшему врагу, тоже знаменитому писателю, и казнил себя, рассказывая ему свой ужасный поступок.

— Я не верю, что было так, — сказал Соловьев, — но, конечно, могло быть так. Он в последние годы жизни был именно в таком душевном состоянии, когда человек не свой, а владеют им либо Бог, либо дьявол. Либо экстаз серафический, либо экстаз inferнальный. Враг его, от кого узнана была вся история, любил прихвастнуть, измыслить — однако не столь же злые вещи. Я думаю, что великий писатель действительно был у него и каялся. Но это не значит еще, чтобы он действительно сделал, в чем каялся. Бывают помышления, которые приобретают для человека реальность как бы свершившихся фактов. Недаром же

Христос говорил, что половые помышления — такой же реальный грех, как и половые деяния. И я думаю, что с таким-то помышлением, создавшим яркую галлюцинацию, мы в данном случае имеем дело... А впрочем, — вздохнув, отуманился он, — чего не бывает на свете...

Затем между ним и Загуляевым опять завязался спиритический спор — М. А. спиритов отстаивал, Соловьев относился к ним весьма скептически, с насмешкою и нелюбовью. Я в этих вещах не знаток и не любитель; мне стало скучно, и когда часы пробили одиннадцать — время ехать в редакцию читать номер, — я откланялся и ушел.

### [ЗАМЕТКА О ЛЕКЦИИ]

Вл. С. Соловьев прочитал в Думе лекцию о конце мира, во время которой кто-то свалился со стула<sup>7</sup>. Публика и газеты думали, что — со страха пред антихристом. Но свалившийся протестовал в газетах, уверяя, будто Вл. С. Соловьев просто навел на него дремоту, и, опасаясь заснуть так, что потом и светопреставление не разбудит, он стал возиться на своем стуле; думский стул неравной борьбы не выдержал, и — случилось как раз то происшествие, о коем поется в детской песенке:

Стул подломился,  
Король покатился...<sup>8</sup>

Человек, охочий сблизать великое со смешным, может много наострить на тему этого неожиданного совпадения — помянув и о горячем учителе истории из «Ревизора», и об Александре Македонском, и об убытке казны, и наконец даже просто о черте в стуле, которого Вл. С. Соловьев сулил присутствующим до тех пор, пока черт не возгордился и не начал въявь безобразничать. Одна духовная особа, присутствовавшая на лекции Соловьева, так, по крайней мере, и объяснила странное крушение стула, которым началось мировое крушение, — громогласно возопив, когда оно свершилось:

— Вот что значит все об антихристе да об антихристе... Договорились!!!

Конец мира, однако, за концом думского стула не воспоследовал; не пришел и антихрист, а пришел думский сторож, подобрал и унес бранные останки злополучного стула, заменив его другим. Инцидент со светопреставлением, стало быть, действительно был исчерпан только тем, что

Стул подломился,  
Король покатился...

Кстати: не так давно, роясь в старых журналах, я нашел смешное указание, что когда представлен был в цензуру сборник русских песен Киреевского, то из-за двух этих стишков детского лепета книга чуть-чуть не была задержана: цензор, из разряда Загорецких, нашел их опасными для престижа высшей власти. Вопрос восходил по инстанциям до шефа жандармов — и лишь этот всемогущий человек дореформенной Руси по зрелом размышлении нашел себя вправе дозволить королям иметь плохие стулья и сваливаться с них иной раз, как случается свалиться обыкновенному смертному.

Теперь — два слова о «черте в стуле», которого насулил Вл. С. Соловьев.

Я не знаю, скоро ли кончится мир, как предсказывает Вл. С. Соловьев, и по тому ли церемониалу. Этой хорошей старой машине часто пророчили крушение, а она все живет и работает, даже и не думая уставать. Пламенный творческий дух, который некогда ослепил сиянием своим мудрого Фауста в его профессорской келье, покуда как будто еще нигде не дремлет и вовсе не походит на господина, готового от зевоты свалиться со стула.

In Lebensfluten im Tatensturm  
Wall'ich auf und ab,  
Webe hin und her!  
Geburt und Grab,  
Ein ewiges Meer,  
Ein wechselnd Weben,  
Ein glühend Leben,  
So schaff'ich am sausenden Webstuhl, der Zeit,  
Und wirke der Gottheit lebendiges Kleid<sup>9</sup>.

Но если бесконечен мир, то, несомненно, наоборот, конечны цивилизации, существующие в мире и управляющие до известной степени судьбами если не всего мира, то весьма значительной его части. Цивилизация есть стремление человечества к божеству. Начиная с полужверского, дикого состояния все известные доселе исторические цивилизации росли, развивались и множились до тех пор, пока не достигали во внешних формах и проявлениях своих действительно почти божественной мощи и изящества. И, став на эту дивную высоту, все цивилизации начинали смутно сознавать, что никогда еще божество, то есть идеал мудрости, справедливости и любви, не было так далеко от мира, как в эту минуту, когда она, цивилизация, пройдя ряд вековых уси-

лий и испытаний, по-видимому, торжествует над миром. Это — момент перелома, после которого для цивилизации начинается период умирания. Она долго и упорно борется за свое существование, за свою правоту, но ее неумолимо разлагают самонедовольство верхних общественных слоев и старые, но вечно юные, неизменные со дня рождения человечества идеи божественной мудрости, справедливости и любви, которые, как забытые слова, выплывают откуда-то со дна и с упреком стучатся в лучшие умы смертельно заболевшей цивилизации. Смутное предчувствие говорит им: «Мы кончаемся» — за триста-четырееста лет до действительного конца. И они думают, что конец их — в то же время конец всего видимого мира, потому что они не в состоянии представить себе, что мир может существовать в реальности на иных основах, чем они сами существовали. Им хочется думать, что он умрет с ними вместе и воскреснет уже преображенным призраком прежнего мира, в котором человек из естества своего сохранит начало цивилизующее, то есть приближающееся к божеству, — дух, но не останется у него начала, борьба с коим и составляет предмет цивилизации и зловредному влиянию коего приписывается отдаление от божества, — плоти. И мистически настроенная фантазия рисует им мощные образы грядущего переворота: как он начнется, свершится и перейдет в примирение человека с божеством. Это — эпоха покаяния цивилизации, эпоха предчувствий казни за попытку выстроить башню до небес и стать подобными богам, ведающим чрез запретный плод, что есть добро и зло.

Люди, любящие старую цивилизацию, трепещут, создавая пессимистические системы; люди, воскресившие в душах своих вечный божественный идеал, чают разрушения старой цивилизации как духовой революции, долженствующей создать новый мир. Властителями умов, двигателями литературы становятся: сатирико-философский этюд — как прощание с прошлым, и апокалипсис — как завет грядущего.

Вл. С. Соловьев, несомненно, один из тех мистических умов, которые инстинктом чувствуют, что наша 15-вековая культура, самозванно величающая себя христианскою, дошла в своем развитии приблизительно до такого же переломного предела, какой, например, в пятидесятых-восьмидесятых годах первого века нашей эры пережила античная культура греко-римского мира. И ему захотелось написать апокалипсис, подобный тем, которые во множестве писались в сказанное время. Наше общество, хотя и христианское, Новый Завет знает плохо — ведь и к Евангелию-то его больше Толстой повернул в последние годы! — и этим объ-

ясняется, что лекция г. Соловьева произвела на Петербург впечатление какой-то отвлеченной поэтической фантазии, почти мистификации. Я не был на чтении и знаю о нем лишь по газетным отчетам. Но и из них видно, что г. Соловьев возвещал миру если не «откровение Иоанново», то другой апокалипсис, значением и качеством пониже — вроде «Книги Эноха», «Успения Моисеева» и т. п. Все эти разговоры об антихристе, маге Аполлонии (даже имени-то г. Соловьев не подновил) etc., включительно до провала воинства антихристового в тартарары и появления Христа в отверстом небе, — перепев своими словами от 12-й главы «Откровения» включительно до первого стиха главы 21-й: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря нет». Фантазия г. Соловьева не его собственная, а взятая напрокат у южан Иудеи и Сирии, чаявших 1850 лет тому назад гибели старого Рима и старого Иерусалима для того, чтобы создать новый Рим и грезить о новом полудуховном Иерусалиме. Прологом к новому Иерусалиму завершает свою фантазию и г. Соловьев. Ибо, когда антихрист провалился, а Христос пришел с победою вновь на землю, чему же учредить-ся на последней, как не тому millennium<sup>10</sup>, блаженному тысячелетию полудуховного, полуплотского царствия Христа на земле, о котором мечтали Ириней Лионский, Юстин Философ, Лактанций?<sup>11</sup>

Но если фантазия Вл. С. Соловьева не северного производства, а южного заимствования, то, с другой стороны, по условиям своего произвольного появления в свет фантазия эта несравненно более сродни сказкам, бесцельно и свободно рождающимся в праздном уме красиво мыслящего поэта, чем осмысленному и целесообразному созданию апокалипсисов. Если апокалипсис — пророчество для будущего, то для настоящего и прошедшего он — религиозное обличие. Автор «Откровения» видел живого антихриста — великолепного цезаря Нерона — и твердо верил, что он антихрист, «зверь из бездны», число которого — 666 или, по другим спискам, 616 — криптограмма еврейского начертания Nero Caesar<sup>12</sup>. Он видел казни христиан, пожар Рима, революцию в Иудее, ужасы междуцарствия, предчувствовал неминуемую гибель Иерусалима, так же как мы, сочувствуя бурам, конечно, предвидим, что Трансвааль будет раздавлен англичанами, — и эта реальная основа дала глубокую силу и многозначительность его аллегориям. Вл. С. Соловьев «фантазирует в воздухе»... Он не видал ни живого антихриста, ни волхва и лжепророка его и сочиняет их из собственной головы. Поэтому вместо грозных, стихийных апокалиптических образов, на два

тысячелетия неизгладимо запечатлевшихся в памяти человечества, у г. Соловьева антихрист вышел просто недурным из себя, образованным, честолюбивым и самодовольным литератором лет 33, а состоящий при нем Симон-волхв, alias<sup>13</sup> маг Аполлоний, — профессором белой и черной магии и специалистом гипнотических внушений. Это — Сигма и Осип Фельдман<sup>14</sup>, а вовсе не антихрист с лжепророком его.

Г-н Соловьев играл в воздушные фигуры, и вследствие этого лекция его потеряла целесообразность и практическую обоснованность. «Как ветер, песнь его свободна, зато, как ветер, и бесплодна»<sup>15</sup>. Это — игра в умственный Lawn-tennis, а не откровение. Чтобы сделать соус из зайца, надо прежде всего иметь зайца — чтобы писать трактаты об антихристе, надо исторически обзавестись антихристом. Но — всемирная история покуда не создает такового, и не Чемберлена же с Родсом<sup>16</sup> жаловать в антихристы. Это для них чести много! Скажут: антихриста нет пред антихристом. Ну, вряд ли. Проповедь так называемого «сверхчеловечества», которою завершилась наша мнимохристианская цивилизация, конечно, антихристова проповедь. Но, для того чтобы явиться ее практическим осуществителем, будущему антихристу не хватит еще надолго того огромного фактора, который так легко превратил в антихриста Нерона: единства цивилизации в мире и единой власти ее именем. Сейчас нету властителей мира, и вряд ли они могут быть. Россия, Англия, Китай владеют гораздо большими земельными пространствами, чем владела Римская империя, но — владеют не безапелляционно, а в строгой политической условности взаимных интересов и культур. Если появится антихрист в Англии, он еще не будет повелительным антихристом для России, а разве лишь явится для какой-нибудь кучки русских англоманов антихристом, так сказать, совещательным. Если же, паче чаяния — и сохрани Бог! — антихрист родится «от семи дев» в пределах Российской империи, то будем уповать, что гнилой Запад не примет его уже из одной зависти и ненависти к нашей «самобытности». Так что мы останемся при своем антихристе, а Западу придется обзавестись своим. А вернее, своими, ибо сомнительно, чтобы, например, антихрист немецкий мог приобрести популярность во Франции, антихрист-француз — у пруссаков. А раз пойдет на антихристов такая конкуренция, то, авось, и дело кончится благополучно, без светопреставления. Просто — как твари злобные и сверхчеловеческие — антихристы антихристов слопают, и останутся от них одни хвосты, каковые невозбранно будет поместить на память и

поучение потомству в петербургскую кунсткамеру или парижский музей Cluny<sup>17</sup>.

Антихрист есть единство царства плоти, противопоставленно-го царству духа, царству Божию. А быть может, единственный успех, достигнутый новою цивилизацией после падения старой, античной, — что царство плоти, царство от мира сего, раздробилось на сотни тел, бессильных сомкнуться общим походом на царство духа, которое пребывает все то же единое, вечное, непоколебимое, цельное... Антихрист — единая мировая монархия, единая бездушная наука, единая плотская власть над землею. Эта власть стала невозможною, едва цивилизовалась пятая доля земного шара. Даже раздробясь на семь-восемь мощных властей, не считая десятков маленьких, она не в состоянии уже управиться с тем, что у нее есть. Быть может, будущность нашей истории совсем не в огромных единовластных государствах, но в союзных федерациях, в какие выродилась под конец своего существования Римская империя и к которым придется вернуться. Но это — улита едет, когда-то будет! И вряд ли на борзом коне, а не именно на такой долго едущей улите ползет к нам и соловьевский антихрист.

